

УДК 811

**Элегия Пушкина «Погасло дневное светило...» в контексте традиции
античного послания «К кораблю»**

Казарин В. П.

*Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
г. Симферополь, Украина*

Калашникова О. Л.

*Днепропетровский национальный университет имени О. Гончара,
г. Днепропетровск, Украина*

В статье предложена новая трактовка природы взаимодействия Пушкина с байроновской традицией; прослежен процесс развития в русской литературе особого метафорического жанра поэтического послания «К кораблю», канонизированного Горацием; обозначен круг геополитических и исторических ассоциаций, позволяющих по-новому осмыслить место и роль пушкинской элегии в истории литературы.

Ключевые слова: традиция, послание, реминисценция, байронизм, романтизм.

В ночь с 18 на 19 августа (30–31 по н. ст.) 1820 года во время морского перехода на корвете «Або» из Феодосии в Гурзуф у Пушкина на палубе корабля рождается не только замысел, но также и начальные строки его первого крымского стихотворения – элегии «Погасло дневное светило...».

Исследователи традиционно рассматривают эту элегию как результат влияния на поэта творчества его старшего современника Байрона. Сам факт воздействия на Пушкина законодателя европейского романтизма очевиден. Но реальная история их творческих отношений заставляет сомневаться в «байронической» природе пушкинской элегии.

О видимой простоте и скрытой сложности взаимоотношений двух выдающихся художников слова писал в начале 20-х годов прошлого века в своей классической монографии «Байрон и Пушкин» В. М. Жирмунский. Переиздавая через пятьдесят лет свое исследование на немецком языке, автор с еще большей решительностью подчеркивал свою позицию в предисловии к европейскому читателю: «Сопоставление лирических поэм обоих авторов... вскрыло глубокое различие между искусством Байрона и Пушкина. С самого начала школа Байрона была связана для Пушкина с внутренним сопротивлением и борьбой против учителя, которая в конце концов должна была привести к окончательному преодолению “байронизма”. Именно там, где мы имеем как будто внешнее сходство их произведений, они обнаруживают в особенно очевидной форме различие их художественной сущности и стиля» [8, с. 10].

И далее: «“Байронический” образ безымянного кавказского пленника, как и Алеко в «Цыганах», не были подсказаны русскому поэту английскими образцами, они выросли из общественных условий преддекабристской эпохи и из личного, человеческого опыта самого поэта. Исследователь литературы не вправе упускать из виду это обстоятельство» [8, с. 11].

Простая и глубокая мысль В. М. Жирмунского фактически не принята в полной мере современной литературной наукой. Это заставило выдающегося ученого обронить в своем предисловии горькое замечание о том, что результаты исследований темы «Байрон и Пушкин» в нашем литературоведении «довольно скудны и бессодержательны», представляют «лишь общие места и банальные истины» [8, с. 10].

Все это тем более странно, что главным защитником точки зрения В. М. Жирмунского является сам Пушкин, который полагал, что в период его зрелого становления творчество Байрона уже было фактом предыдущей художественной эпохи, а не актуальной современностью.

Пушкин подробно излагает свою точку зрения по этому вопросу в письме П. А. Вяземскому из Одессы от 24-25 июня 1824 года: «Гений Байрона бледнел с его молодости. <...> Он весь создан был на выворот; постепенности в нем не было, он вдруг созрел и возмужал – пропел и замолчал; и первые звуки его уже ему не возвратились – после 4-ой песни Child-Harold Байрона мы не слышали, а писал какой-то другой поэт с высоким человеческим талантом» [XIII, 99].

Напомним, что 4-я песнь «Паломничества Чайльд-Гарольда» увидела свет весной 1818 года [6, т. 2, с. 312].

Пребывая в плену упрощенно-романтической точки зрения, открыто опровергаемой самим Пушкиным, мы продолжаем считать, что Крым наш поэт (в традициях автора «восточных поэм») воспринимал исключительно как северную Элладу и искал здесь только античные и (благодаря крымским татарам) восточные реминисценции.

Это слишком прямолинейный взгляд. То же высоко оцениваемое Пушкиным «Паломничество Чайльд-Гарольда» переполнено аллюзиями, откликами и прямыми рассуждениями по поводу как исторических, так и самых злободневных политических событий. Особенно Байрона заботит та роль, которую в новейшей истории Европы играет его родной Альбион.

На юге в творчестве Пушкина шли чрезвычайно интенсивные процессы одновременного завершения освоения романтических постулатов и быстрой выработки (в те же месяцы и годы!) совершенно новой идеологии и эстетики. Не последовательно, а именно параллельно создаются «южные поэмы» и начинается зарождение и реализация замысла романа «Евгений Онегин».

О формировании нового мировоззрения поэта говорят уже крымские письма и стихи Пушкина 1820 года, в которых он, например, рассуждает о геополитической и исторической значимости для России Кавказа («эта завоеванная сторона... скоро сблизит нас с персиянами безопасною торговлею» [XIII, 18] [1]), а также полуострова («стороне важной и запущенной» [XIII, 19] и всего азиатского региона («Я видел Азии бесплодные пределы...»). Все это в полной мере не было и не могло быть в тот период осознано современниками поэта.

Так же и в элегии. Наряду с явными примерами влияния Байрона на Пушкина, нельзя не видеть отчетливых свидетельств поисков совсем другой, не романтической идеологии и эстетики. Наш поэт, как и создатель Чайльд-Гарольда, старается понять место в современном мире своего отечества – России. Но исторический материал для размышлений ему дает не эпоха наполеоновских войн, а более отдаленный период – преобразования Петра I.

К совсем иным (не античным и не ориенталистским) реминисценциям молодого гения подталкивало уже название корабля, на котором он плыл, – корвет «Або». Это шведское название финского города (сегодня – Турку). Там располагались в то время русские судостроительные верфи. У Пушкина была личная причина остро реагировать на шведское имя этого города. Именно в Або в случае успешного движения войск Наполеона на Петербург планировалось эвакуировать воспитанников Лицея.

Всё это – имя города, русские верфи, планы эвакуации – являлось зримым проявлением итогов длительного противостояния России и Швеции, закончившегося в эпоху Петра I полной победой молодой империи над некогда могущественным соперником в сражении под Полтавой.

О Петре Великом напоминал и сам Крым, завоевание которого, состоявшееся в эпоху Екатерины II, было подготовлено деятельностью ее предшественника, сначала построившего верфи в Воронеже, потом завоевавшего Азов и, наконец, впервые лично ступившего в 1699 году на землю Тавриды, когда русская эскадра подошла к Керчи и потребовала от турецкого адмирала Гассана-паши, чтобы он пропустил русский корабль «Крепость» с послом Емельяном Украинцевым в Стамбул. До этого все послы добирались ко двору султана только сушей. Черное море имело статус внутреннего моря Оттоманской империи, и плавание по нему кораблей любых других государств было запрещено.

Во время переговоров, которые закончились успешно (их фоном был большой русский флот, стоявший в Керченском проливе), в составе свиты адмирала Ф. А. Головина 31 августа на крымский берег выходил в одежде саардамского плотника и сам Петр [2, с. 326]. Кстати, именно с Керчи началось и крымское путешествие автора элегии.

Пушкин на протяжении всего своего творческого пути снова и снова возвращался к личности великого реформатора. С 1831 года и до кончины в 1837-м поэт напряженно работает над исполинским замыслом «Истории Петра» (осталась незаконченной).

Точно так же над личностью создателя новой России всю жизнь размышлял и русский научный и поэтический гений – Михаил Ломоносов. Он посвятил своему кумиру героическую поэму «Петр Великий», над которой работал последние десять лет (также осталась незаконченной). Пушкин не только хорошо знал и высоко ценил эту поэму, он к ней неоднократно обращался как к источнику идей и художественных образов.

Так, несомненно, М. В. Ломоносовым навеяно знаменитое пушкинское определение личности Петра I в «Стансах» 1826 года:

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник
[III, 40].

Во-первых, М. В. Ломоносов в известном смысле задал формат понимания Петра I как исторической личности. Выдающийся предшественник Пушкина был автором нескольких программных надписей к памятникам императора. В качестве примера приведем одну из них, являющуюся весьма характерной. Это надпись к конной статуе Петра Великого, отлитой по проекту Карло Растрелли (1743-1746):

Се образ изваян премудрого Героя,
Что, ради подданных лишив себя покоя,
Последний принял чин и царствуя служил,
Свои законы сам примером утвердил,
Рожденны к скипетру, простер в работу руки,
Монаршу власть скрывал, чтоб нам открыть науки.
Когда он строил град, сносил труды в войнах,
В землях далеких был и странствовал в морях,
Художников собирал и обучал солдатом,

Домашних побеждал и внешних супостатов;
И, словом, се есть Петр, отечества отец;
Земное божество Россия почитает,
И столько олтарей пред зраком сим пылает,
Коль много есть ему обязанных сердец
[3, т. 8, с. 284].

В этой надписи отчетливо сформулирована главная идея М. В. Ломоносова: Петр I во имя своих подданных личным примером и неутомимыми трудами обнимал все сферы деятельности современного государства. Эта мысль была близка Пушкину.

Во-вторых, в поэме «Петр Великий» М. В. Ломоносов создал ту лапидарную формулировку, которую возьмет на вооружение Пушкин. М. В. Ломоносов, говоря о том, что Петр I «понес труды для нас, неслыханны от века», охарактеризовал своего кумира почти теми же словами, что и автор «Стансов»:

Строитель, плаватель, в полях, в морях Герой
[4, с. 299].

Героическая поэма М. В. Ломоносова близка Пушкину и по взгляду на историческое прошлое России, и по художественному осмыслению окружающего лирического героя пространства. Отсюда многочисленные – явные и скрытые – цитаты, полуцитаты и параллели из неё в крымских стихах поэта. «Грозная прихоть обманчивых морей» [II, 146] из первой крымской элегии Пушкина напоминает «грозный стон стихий» [4, с. 301] в описании бури, обрушившейся на корабль Петра I в поэме М. В. Ломоносова. «Пловец» из «керченского» стихотворного фрагмента молодого поэта, который «зрит» гору Митридат, озаренную «сиянием заката» [II, 190], стилистически несомненно вырастает из картины застывшего над морем северного солнца, «сверкающего в очи» «пловцам» корабля [4, с. 303], на котором по Белому морю путешествует царь. «Бездонный Океан» [4, с. 303] М. В. Ломоносова вполне уживается с фигурирующим три раза «угрюмым океаном» (II, 146-147) Пушкина. Эти примеры можно продолжить.

Дело, конечно же, не в частных совпадениях самих по себе. Дело в том, что героическая поэма М. В. Ломоносова давала пушкинскому плаванию по Черному морю помимо традиционной романтической параллели – «паломничество» Чайльд-Гарольда – еще и национально-государственную, национально-патриотическую параллель – «паломничество» летом 1694 года по русскому Северу Петра I, которое положило начало всему: войне с могущественной Швецией, завоеванию Балтики и основанию Петербурга, строительству армии и флота, Полтавской победе и началу движения на юг, завершившегося, в конце концов, присоединением к России Крыма. Того самого Крыма, который гостеприимно и мирно принимал поэта вместе с семьей генерала Н. Н. Раевского в августе-сентябре 1820 года. При этом надо помнить, что позади у поэта был Кавказ, кровавое и тяжелое завоевание которого только-только набирало обороты, чему Пушкин был свидетелем.

В известном смысле, элегию «Погасло днёвное светило...» и крымское путешествие, обогатившее поэта новыми встречами, впечатлениями и идеями, можно считать колыбелью замысла «петровской» поэмы «Полтава».

Именно поэтому пушкинская элегия не только содержит архаическую «ломоносовскую» лексику («ветрило» вместо паруса, «океан» вместо моря и др.), но и начинается стихом, который является прямой цитатой из поэмы «Петр Великий»:

Погасло днёвное светило <...>

[II, 146].

У М. В. Ломоносова, к которому открыто обратился Пушкин, эта формула выглядит так:

Достигло днёвное до полночи светило <...>
[4, с. 303; 7].

Современникам Пушкина, которые в лицеях, пансионах и университетах месяцами в обязательном порядке штудировали оды, стихи и трагедии Михаила Ломоносова, факт цитирования, конечно же, бросался в глаза. Они понимали, что поэт видит Крым в контексте гигантской преобразовательной деятельности Петра I, создавшего новую Россию. Только эта Россия смогла к концу XVIII века расширить пределы государства от Белого до Черного моря и от Балтики до Тихого океана. Только она смогла в XIX веке сокрушить военный гений Наполеона и надолго стать властелином Европы. Только она – для того, чтобы выразить себя миру, – могла родить на протяжении одного столетия двух национальных гениев – Михаила Ломоносова и Александра Пушкина.

Не будет преувеличением сказать, что в первой крымской элегии Пушкина совершается процесс формирования идеи, реализации которой позднее поэт отдаст много сил и таланта. Существование идеи состоит в том, чтобы, перенимая опыт М. В. Ломоносова, стать истолкователем царевых дел, а шире – советодателем влиятельных людей из его окружения и в этом смысле соратником. Пушкин, только что переживший первый тяжелый кризис своих взаимоотношений с самодержцем, нашедший опору в трудный час в лице ряда просвещенных деятелей из окружения царя, ищет новую систему взаимоотношений с властью.

Во втором стихе первой крымской элегии А. С. Пушкина «петровский текст» обозначен еще одной реминисценцией: этот стих практически является цитатой из первой строки известной песни «Уж как пал туман на сине море». Уже в XVIII столетии эта любовная песня, отразившая фольклорную линию в формировании русской светской лирики, воспринималась как народная. Как таковая она и вошла впоследствии во многие сборники. Однако песня эта имела автора, а история ее создания также непосредственно связана с грандиозными начинаниями Петра Великого, закладывавшего основы могучей России, начинавшей все больше удивлять Европу.

По свидетельству Николая Александровича Львова (1751-1803) [5, с. 422], художника, архитектора, поэта, эта песня была написана его дедом Петром Семеновичем Львовым во время Персидского похода Петра I (1722-1723), в котором он принимал участие в звании капитана. Итогом войны стало подписание 12 сентября 1723 г. в Петербурге мирного договора с Персией, по которому к России отошли Дербент, Баку, Решт, провинции Ширван, Гилян, Мазендеран и Астрабад. Правда, эти завоевания были вскоре утрачены.

Внук Петра Семеновича Львова – Николай – организовал знаменитый «львовский кружок», новаторский дух которого сформировал своеобразную поэзию Г. Р. Державина, благословившего потом юного лицеиста Пушкина. Николай Львов опубликовал песню своего деда, защищая его авторство. Для нашего анализа важны первые четыре стиха этого популярного в народе и обществе (в частности, у декабристов) произведения:

Уж как пал туман на сине море,
А злодей-тоска в ретиво сердце;
Не сходить туману с синя моря,
Уж не выйти кручине из сердца вон

[5, с. 23].

Первая строка песни П. С. Львова, несомненно, дала рождение второму стиху пушкинской элегии:

<...> На море синее вечерний пал туман

[II, 146].

Если героическая поэма М. В. Ломоносова «Петр Великий» обозначала государственное начало в судьбах послепетровской России, то «народная» песня П. С. Львова – современника и рядового сподвижника великого реформатора – давала развитие лирической теме. Исторические события «службы царския» [5, с. 24] в песне осмыслены через судьбу простого человека, который стал одной из многочисленных жертв, заплаченных за победы и завоевания полководцев. Вполне очевидно, что эта тема – утрат и разочарований отдельного человека, ставшего жертвой столкновения с властью и ее целями, – занимает в первой крымской элегии Пушкина весьма значительное место. У героя крымской элегии поэта «кручине» также не дано «выйти» «из сердца вон»: его «раны любви» – «ничто не излечило» [II, 147].

Для изложения своих представлений по указанному кругу проблем Пушкин обращается к жанру, который еще в античности был выработан для этих целей. Это жанр «метафорического переосмысления морских образов» применительно к актуальным современным политическим событиям [9, с. 253]. У истоков этого жанра, являющегося своеобразным обращением «К кораблю», стоят Архилох, Алкей и Феогнид [9, с. 353-355].

Окончательное жанровое формирование этой традиции осуществил уже в римской литературе Гораций в оде «К Республике», в которой поэт уподобляет свое государство, стоящее на грани катастрофы (война Октавиана с войсками Антония и Клеопатры), кораблю, тяжело сражающемуся с бурей [9, с. 255].

Ода Горация «К Республике» («О корабль, отнесут в море опять тебя...») задала в европейских литературах (подобно его «Памятнику») образец жанра, основанного на морской аллегории и представляющего собой поэтическое обращение «К кораблю».

В XVIII веке яркий пример продолжения этой традиции находим в «Оде блаженныя памяти Государыне Императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятии Хотина 1739 года» М. В. Ломоносова. В этой оде поэт подробно рассказал об одном из важнейших эпизодов русско-турецкой войны 1739 г. – взятии Хотинской крепости и пленении 90 тысяч турок и татар во главе с военачальником Калчак-пашой. Описание события начинается с метафорического отождествления могучего российского воинства с кораблем, который вопреки всем бурям и стихиям, уверенно стремится вперед по предначертанному ему пути:

Корабль как ярых волн среди,
Которые хотят покрыти,
Бежит, срывая с них верьхи,
Претит с пути себя склонити;
Седая пена вокруг шумит,
В пучине след его горит <...>
[4, с. 63-64].

В новой и новейшей русской литературе оду Горация переводили, обрабатывали и перелагали А. А. Фет и В. Н. Брюсов, В. В. Глусский и А. П. Семенов-Тянь-Шанский, П. Ф. Порфиоров и Н. С. Гинцбург, Н. И. Шатерников, а также М. А. Тарловский, А. Пупышев и другие.

В пушкинские времена история обращений к канонизированному Горацием жанру поэтического послания «К кораблю» начинается опытом неизвестного переводчика первых лет XIX века, за которым следуют стихи А. Х. Востокова, А. Савинского, М. В. Милонова, П. А. Вяземского, позднее – Н. И. Надеждина и других вплоть до пушкинского «Ариона» [9, с. 258] и лермонтовского «Паруса» [см. библиографию переводов и публикаций: 10].

Несомненно, наиболее актуальными для Пушкина в 1820 году были, с одной стороны, морские строфы из Второй песни «Паломничества Чайльд Гарольда», которые спутник Раевских не мог не вспомнить при посадке в Феодосии на борт боевого корабля Черноморского флота – корвета «Або». О совершенной неизбежности такой ассоциации в эту литературную эпоху писал позднее сам Пушкин: «В наше время молодому человеку <...> мудрено, садясь на корабль, не вспомнить лорда Байрона, и невольным соучастием не сблизить судьбы своей с судьбою Чильд-Гарольда. Ежели, паче чаяния, молодой человек еще и поэт и захочет выразить свои чувствования, то как избежать ему подражания?» [XII, 82].

Морские строфы Байрона не раз отзовутся впоследствии в стихах нашего поэта. Кстати, здесь, на палубе английского боевого корабля, нам впервые встретится и певец Арион [6, т. 2, с. 175].

С другой стороны, Пушкин не мог не отреагировать на стихотворение «К кораблю» П. А. Вяземского, написанное на год раньше элегии [11, с. 124-125].

Пушкинская элегия обнаруживает прямые переклички со стихотворением П. А. Вяземского: «Куда **летишь?**» в первой строке сразу после заглавия «К **кораблю**» в стихотворении 1819 года и «**Лети, корабль...**» в элегии 1820-го (выделено нами – Авт.). Оба поэта одинаково обращаются в своих стихах в теме Петра Великого. Оба используют архаизированную лексику. Можно указать ряд других сближений.

Но что касается идеологии этих двух обращений «К кораблю», то она у каждого из поэтов-друзей антагонистична другому. Достаточно сказать, что П. А. Вяземский просит свой корабль «привести» его пловцов на «счастливый берег» обретенного, по его мнению, страной после победной войны с Наполеоном – государственного процветания и свободы.

Ссылный Пушкин, на себе испытав реальное содержание этой свободы, призывает свой корабль «нести» его «к пределам дальным», категорически отказываясь пристать «к берегам печальным» своей родины [II, 146]. «Счастливый берег» П. А. Вяземского преобразован, таким образом, Пушкиным в «берега печальные».

Лирический герой элегии ставит крест на своей философии эгоцентричного счастья, которая им исповедовалась прежде («и вы забыты мной» [II, 147], «я забыл тревоги прежних лет» [II, 187]). Но при этом он пока принципиально игнорирует открытый политический диалог с современностью. Он как в этой элегии, так и в ряде других стихов 1820 года («Мне вас не жаль, года весны моей», «Я пережил свои желанья»), продолжает демонстрировать свою преданность идеалам «мечты» и «любви», что внешним образом вроде бы отвечает романтическому канону. Но тот факт, что эти идеалы декларируются на фоне три раза повторяющегося в стихотворении рефрена, приводящего с собой в элегию грозную тему «волнующихся» стихий воздушного и водного «океанов», говорит о скрытом интересе к тому, что открыто вроде бы отрицается. Пушкин начинает осознавать, что есть силы, которые в конечном итоге определяют существование частного мира отдельного человека. И он хочет их постичь.

Упомянутые две стихии – одна из первых (пусть и схематичных) попыток обозначить этот мир абсолютной и непонятной по своей природе власти. Эти стихии не просто противостоят кажущейся надежности человеческого повседневного бытия. Они его легко и «неодолимо» уничтожают. Об этом будет писать в 1818 году

в строфах 179-181 Четвертой песни «Паломничества» Байрон, излагая свои заветные мысли. Об этом напишет в 1824 году в стихотворении-прощании «К морю» Пушкин, покидающий «свободную стихию», чтобы отправиться на север «в леса, в пустыни молчаливы» для встречи лицом к лицу со своим собственным народом:

<...> Но ты выиграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей
[II, 331].

Ошибочно будет думать, что Пушкин в своей элегии замыкается в сугубо лирических темах. Напротив, он ими отгораживается от любопытства непосвященных в его трудные размышления и поиски. Нежелание вслед за Байроном говорить о политике – свидетельство не только несогласия с этой политикой, но и разочарования в старом понимании политической сферы как таковой («сети разорвав, где бился я в плену» [II, 187]). Пушкин объявляет себя «искателем новых впечатлений» [II, 147]. Он призывает свой корабль «по грозной прихоти обманчивых морей» нести его «к пределам дальным» [II, 146]. И это, естественно, не только и не столько вопрос географии. За этими формулами стоит напряженная работа последних месяцев, направленная на выработку нового мировоззрения поэта и нового понимания окружающего мира, на поиски «новых впечатлений». Уже через каких-нибудь полгода после создания элегии об этом будет прямо сказано в послании «Чудаеву» (1821):

В уединении мой своенравный гений
Познал и тихой труд, и жажду размышлений!
Владею днем моим; с порядком дружен ум;
Учусь удерживать вниманье долгих дум;
Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы
И в просвещении стать с веком наравне
[II, 187].

Продолжаться эти плодотворные поиски будут еще не один год, формируя новый облик поэзии Пушкина.

В пользу тех геополитических и исторических ассоциаций, которые мы считаем неотъемлемой частью пушкинского текста, говорит и последующая история публикации крымской элегии.

В 1820 году она печатается в 46-м номере «Сына Отечества» под названием «Элегия» с пометой «Черное море. 1820. Сентябрь» [II, 628].

В 1825 году (на следующий год после смерти Байрона!), подготавливая собрание своих стихотворений, Пушкин уже намеревается назвать саму элегию «Черное море», сохраняя в публикации указание года – «1820» [II, 628].

Таким образом, первые пять лет творческой истории элегии поэт всячески подчеркивал понятный для русского читателя геополитический контекст, связанный с образами Крыма и Черного моря. Это контекст созидательной деятельности России на протяжении более 100 лет, в известном смысле оправдывавший те большие жертвы, которые были ради этого принесены подданными самодержцев.

Но постепенно Пушкин начинает разочаровываться в своей идее формирования особых отношений между поэтом и влиятельным окружением императора. 7 июня 1824 года в письме П. А. Вяземскому из Одессы он пишет: «Никто из нас не захочет великодушного покровительства просвещенного вельможи, это обветшало вместе с Ломоносовым. Нынешняя наша словесность есть и должна быть благородно-независима (курсив Пушкина – Авт.)» [XIII, 96].

На какое-то время идею особых отношений с «просвещенным вельможей» заменит идея особых отношений с самим царем («Стансы» и другие). Но и она в итоге будет отброшена поэтом.

Пока же изменение позиции ведет к тому, что Пушкин начинает демонстративно заключать элегию исключительно в байронический контекст, для него самого уже совсем не актуальный.

В 1825 году появляется идея снабдить элегию эпитафией из Байрона «Прощай, родная земля», который, правда, тут же зачеркнут карандашом [II, 628]. Характерно, что название элегии «Черное море», которое тоже первоначально было вычеркнуто, позднее восстанавливается поэтом. «Паломничество» Чайльд-Гарольда начинает зримо теснить «паломничество» Петра I, которое в новых условиях лишается прежнего остросовременного идеологического сверхсмысла.

Наконец, в изданиях «Стихотворений Александра Пушкина» 1826 и 1829 годов элегия так и получает в оглавлении после современного названия «Погасло дневное светило» подзаголовок «Подражание Байрону» (в издании 1826 года пока еще с указанием даты – «1820» [II, 628]).

Пушкин, разумеется, оставляет не петровскую тему, а просветительски-дидактическое ее понимание. Покидая узкие для него пределы переходной эстетики параллелей и намеков, поэт обращается к постижению истории во всей ее полноте. Заявленное некогда стремление «в просвещении стать с веком наровне» [II, 187], начинает давать свои результаты.

Свои новые представления Пушкин будет реализовывать в другом «морском» стихотворении – в «Арионе» (1827).

Список литературы

1. Здесь и далее все ссылки на сочинения Пушкина даются в скобках с указанием римской цифрой тома, арабской – страницы по Большому Академическому Полному собранию сочинений поэта: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 16 т. – [М.; Л.]: Издательство АН СССР, 1937-1949; Т. 17 (Справочный). – АН СССР, 1959.
2. Брикнер А. Г. Иллюстрированная история Петра Великого. – М.: ЭКСМО, 2007.
3. Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. В 11 т. – М.; Л.: Издательство АН СССР, 1950-1983.
4. Ломоносов М. В. Избранные произведения. – Изд. 2-е. – Москва; Ленинград: Советский писатель, 1965. – (Библиотека поэта. Большая серия).
5. Русская литература XVIII века. 1700-1775. Хрестоматия / Составитель В. А. Западов. – М.: Просвещение, 1979.
6. Байрон Д. Г. Собрание сочинений. В 4 т. – Москва: Правда, 1981.
7. Эта параллель между стихами М. В. Ломоносова и А. С. Пушкина впервые была отмечена писателем В. В. Конечким в 2001 году в статье «Лети, корабль», опубликованной в 8 (дополнительном) томе Собрания сочинений автора в 7 томах.
8. Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. – Л.: Наука, 1978.
9. Мальчукова Т. Г., Мещерякова Н. А. Корабль поэзии: (К вопросу об источниках пушкинских морских образов) // Рецепция античного наследия в русской литературе XVIII-XIX вв.: Сборник статей. – Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2009.
10. Сайт «Horatium.org».
11. Вяземский П. А. Стихотворения. – Изд. 3-е. – Л.: Советский писатель, 1986. – (Библиотека поэта. Большая серия).

Казарин В. П., Калашникова О.А. Елегія Пушкіна "Погасло дневне світло..." в контексті традиції античного послання "До корабля" // Ученіє запискі Тавричеського національного університета ім. В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». – 2012. – Т.25 (64). – № 4. Частина 1. – С.319-328.

У статті запропоновано нову трактовку природи взаємодії Пушкіна з байронівською традицією; позначено процес розвитку в російській літературі особливого метафоричного жанру поетичного послання «До кораблю», канонізованого Горациєм; визначено коло геополітичних та історичних асоціацій, що дозволяють по-новому осмислити місце і роль пушкінської елегії в історії літератури.

Ключові слова: традиція, послання, ремінісценція, байронізм, романтизм.

Kazarin V.P., Kalashnikova O. L. // Uchenye zapiski Tavricheskogo Natsionalnogo Universiteta im. V.I. Vernadskogo. Series «Filology. Social communications». – 2012. – V.25 (64). – № 4. Part 1. – P. 319-328.

The paper proposes a new interpretation of the nature of the interaction between Pushkin and Byron tradition; traces the development in the Russian literature of the particular genre of poetic metaphorical epistle "To the ship," canonized by Horace; denotes the circle of the geopolitical and historical associations, which make it possible to reinterpret the place and the role of Pushkin's elegy in the history of literature.

Key words: tradition, epistle, reminiscence, Byronism, romanticism.

Поступила в редакцію 28.09.2012 г.